

18+



# Красные маки

Диана Ольшанская

# Диана Ольшанская

## Красные маки

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=55346161](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55346161)*

*ISBN 9785449885326*

### **Аннотация**

Лирическая повесть, история мифического Города, где временами наступает пора Большой Уборки, где на окраине обитает старая гадалка, в квартале Кривых Крыш, куда не дай бог попасть; где есть Площадь Потасовок и Старый Квартал, где Он и Она, как и все люди, ищут свое счастье и обретают судьбу.

# Содержание

Красные маки	5
Конец ознакомительного фрагмента.	30

# Красные маки

**Диана Ольшанская**

© Диана Ольшанская, 2020

ISBN 978-5-4498-8532-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

**Диана Ольшанская**

# Красные маки

\*\*\*

Матушка еще на сносях увидела сон, что это – «Она», и боялась рассказать мужу, потому что первенцем должен быть Сын – это знали все и слышала она, когда еще нянчила своих кукол, называя их мужскими именами; а потом на свадьбе, где били тарелки и жених должен был попасть в голову невесты яблоком, привели маленького мальчика и посадили ей на колени: «Первенец должен быть только мальчиком, дорогая!»; говорили, на какую сторону кровати надо лечь в первую ночь, чтобы родился «Наследник и Почитатель седин!», и она старалась, ложилась по навету, дышала только через нос, как учила бабушка, и молилась, чтобы родился Сын; и теперь этот сон – *красные маки* – верный признак того, что родится девочка. «Что же делать?», и даже врачи, приняв ее первенца, все-таки девочку, выходили со скорбными лицами, будто *девочка* равнозначна ублюдку; и не видать ей бриллиантовых сережек, в лучшем случае свекровь одарит презрительным взглядом: «От наших мужчин рождаются только мальчики!» – скажет она двусмысленно, не поинтересовавшись здоровьем невестки и даже не посмотрев

в сторону колыбели. И вот на руках пищит младенец – «Девочка!», и все валится из рук. Как Ее перепеленать, как дать грудь? А теплое молоко брызжет на одежду и лицо ребенка; и устав от слез, Она наконец найдет сосок и будет сопеть от удовольствия, а матушка будет вспоминать свадьбу и то-сты, где веселые дядьки, похлопывая по плечу мужа, учили его быть Настоящим Мужчиной, не обращая внимания ни на что: «Ни на какие там капризы и увертки, знаем мы этих баб!». Призывали сделать *свое дело* с достоинством, а жених, гордо задрав голову – «Да что мне, впервой, что ли?!». «Ну ты у нас парень не промах, помним, как мальцом поднимал своим петушком ведро с камнями! Давай, давай, га-га-га!»; обсуждали детали его *долга*, разражались диким хохотом, от чего вздрагивали дети и посуда на столе, а матушка вспоминала отчий дом, где бабушка, заплетая тяжелые косы, приговаривала, что она гордость их семьи и что у девочки с такими бедрами будут рождаться «только мальчики, моя дорогая»...

...Свекровь потихоньку оттаяла: ведь ребенка называли в ее честь, стала заглядывать в кроватку, где лежала Она, все чаще умилялась, узнавая себя: «Такая же красавица: и пальчики на ногах и – ха-ха-ха! – и срамное место, Боже мой!», а матушка была не против, ей было все равно на чье *место* было похоже *место* ее девочки, лишь бы Ее любили и – «Хоть бы Она родила первенца мальчика!».



Девочка росла егзой и непоседой, смущая соседей: «Что же это за девка такая! Кто с таким нравом Ее возьмет?», Ее ругали за разбитый сервиз: «Руки-то откуда растут, Господи?!», ругали за прилежность в школе: «Лучше научись делать абрикосовое варенье с миндалем!», прогоняли от зеркала, слишком много Она вертелась перед ним: «Заштопала бы отцу носки!», и Она штопала, а потом под неустанным присмотром бабушки с балкона ходила на посылки, на лавочку перед домом, где подружки лузгали семечки и хихикали о том, что глупые мальчишки, бегая в коридоре на переменах, прижимают их к стене, залезая потными ладошками в карманы фартуков: «Где же твой персик на завтрак?», не понимая, что спелый персик в кармане потечет и что он лежит в портфеле: «Отстань, дурак!». Потом появлялись дворовые мальчишки в залатанных на локтях рубашках и, перешептываясь на ходу, ржали, как стадо жеребцов, просили поделиться семечками, и тут бабушки начинали метаться в агонии на своих балконах: «Отойдите, хулиганы, от наших девочек!», и застигнутые врасплох, они убежали, крича вверх: «Никто не тронет ваши ненаглядные персики!», и бабушки успокаивались...

Приезжая погостить, родственники возмущались: «Она гоняет голубей на крыше!», но бабушка учтиво замечала, что

«только под присмотром брата, мои дорогие!».

А Она любила сидеть на теплой крыше дома, расстелив плед, и смотреть на пролетающие мимо облака и – «Мечтать, мечтать! Подумать только, что скажут люди!?!», – возмущалась бабушка, брызжа слюной, застав однажды Ее врасплох. Отец стукнул кулаком по столу «Хватит!», и только матушка, вздрогнув, продолжала перебирать зелень, приговаривая шепотом как всегда: «Господи, направь Ее на путь истинный»...

Ее не привлекали лохматые куклы со стеклянными глазами, Она бегала во дворе с братом, ловила у дороги кузнечиков, рассматривая на солнце красные крылышки, а если повезет, и синие; бывало, Ей попадалась и ящерица, ее можно было держать за хвост, пока он не отклеивался сам по себе, и, извиваясь тонкой змейкой, вскоре остывал прямо в ладони без своей юркой хозяйки, ускользнувшей в щель раскаленных камней. Но больше всего Ей нравилось плести венки из крупных маков, собранных в ущелье; наловив шоколадных бабочек, Она аккуратно прикалывала их к стеблям этой алой диадемы, и они еще долго оведали Ее волосы своими бархатными крылышками...

Она не любила сражений, посаженных в банку из-под варенья скорпионов, когда те жалили друг друга рыжими хвостами, похожими на перевязанную колбасу; плакала, когда мальчишки подстреливали из рогатки птиц, хоронила во дворе их тушки, молясь, как умела, за упокой их птичьей

души...

Брат приносил домой богомолы и учился у них искусству боя, а те, длинные и высокомерные с немигающими глазами, раскачивались, гипнотизируя друг друга, наносили удар за ударом, которые он тут же повторял в отражении платяного шкафа, радуясь, что теперь знает, как досадить тому упрямцу во дворе, не желающему отдавать рогатку, – он просто победит его, как тот желтый богомол... Позже, вдоволь насмотревшись на них, он выбрасывал в окно того, что проиграл, а победителю выкалывал глаза тонкой иглой, ибо победителем мог быть только Человек и только Мужчина. Так Она познавала мир...

\*

В дымной кухне, где невозможно было дышать от запаха вареного лука и морковной поджарки, матушка, как жрица, колдовала над погнутой сковородой: жарила кофе.

Наблюдая за водоворотом шоколадных зернышек, она медленно вращала по кругу деревянной ложкой до тех пор, пока каждое не покроется легкой испариной, пересыпала на специально предназначенную газету с пожухлыми краями, а потом уже остывшие с почерневшими боками перекладывала в банку из-под чечевицы, оставив до вечера, когда придет домой Мужчина...

Отец и Кормилец, сбросив у дивана стоптанные ботинки,

не заметив, как блестит начищенный пол, и не снимая грязной одежды, завалившись уставшим зверем на чистое покрывало, гаркнет на детей, устроивших возню у его ног, и будет дремать до тех пор, пока Женщина не соберет на стол. Неутомимой пчелой, не дай Бог не успеет до того, как Отец приподнимет воспаленное веко, она выложит зелень, нарежет свежие овощи, достанет сыр и вино. И происходит Ужин.

Он молча садится за стол, и перед ним возникает тарелка с дымящимся супом из овощей, в котором скалой возвышается кусок мяса, самый большой кусок в кастрюле, потому что «это – Отец», и, разогнав детей, она тихо пристроится рядом, подперев голову рукой, будет смотреть на него с Великой Нежностью, зная, что по обыкновению, он обожжется, выругается и потребует холодного вина. Внимательно, с придыханьем выслушав его брань, она, учитывая каждую нотку в голосе, поймет, какое сегодня у него настроение, что он будет делать весь оставшийся вечер: пойдет играть в домино перед домом в беседке, где каждый вечер идет игра не на жизнь, а на смерть; или устроившись на диване с газетой, останется дома. Но сегодня он едва уловимо пробурчал «спасибо», значит никуда он не пойдет, а выкурив после плотного ужина положенную папиросу, возьмет старую, от прабабушки, кофемолку с кривой ручкой, будет чинно перемалывать зерна, над которыми она ворожила; мозолистые руки будут пахнуть железом и, может быть, если не рассердят дети, он зайдет в спальню, поджидая ее, пока она

«невзначай» не зайдет за каким-нибудь полотенцем, и тогда прижмет ее к Великой Стене, у которой был зачат младшенький, где уже проступает жир от пятерни ее рук; тогда она подумает: «Ну и что, что вчера ночью он ударил меня, когда я во сне повернулась к нему спиной, может, ему просто стало страшно?»... А потом, наспех одернув подол юбки, пойдет раздавать подзатыльники детям, которые, приоткрыв дверь, тихо наблюдали пустыми глазами за возней родителей...

Наглухо запахнув кофту, пряча пышные прелести, она выйдет на балкон и, собирая белье в плетеную корзину, поздоровается с соседкой, приглашая ее на чашечку кофе: «Он намолот кофе!» – скажет она с гордостью, вложив туда все, что произошло за этот вечер, и соседка с похотливыми глазами и понимающей улыбкой пожурит ее: «Ох и разрезвились вы, как уехала свекровь в деревню, разрезвились!». Она, конечно же, придет и как всегда будет рассказывать о своих тяжелых родах, о том, что врач в целях гигиены «заставил побрить *то самое место*, моя дорогая!», и с гордостью умудренной опытом женщины будет говорить о семнадцати «или сколько точно я уже не помню» абортах, которые она сделала за все время своего замужества: «Так уж мне повезло с *моим*, такой Мужчина!»; а приметив издалека силуэт девушки, идущей вдоль дороги, возмутится неслыханной наглостью «этой потаскухи!», позволяющей себе шествовать по улицам в час, когда целомудренные женщины пьют свой полуденный кофе, намолотый праведными руками кормильца. «Как она

смеет? Эта блудница, прости Господи, ходит в поисках мужчин, а еще говорят, что после того, как она отдается в подворотне первому встречному, как только он пожелает, после всего, что не позволит себе ни одна приличная женщина даже в постели с мужем, она еще и...» И, прошептав *страшное слово*, оглядываясь по сторонам в поисках невидимых ушей, мгновенно определит по выражению лица соседки, не знакомо ли ей вдруг *это*, успокоится, видя испуганный взгляд собеседницы, скорбно кивающей головой, продолжит рассказ о том, что делает «эта шлюха!», смакуя детали, вгоняя в краску даже тонкий плющ, выющийся вдоль балконных перил, утопая в благодном осознании собственного целомудрия. Но, отхлебнув терпкого кофе, все-таки поздоровается натянутой улыбкой и еле заметным кивком головы с виновницей своего триумфа, когда та поравняется с ними – «потому что все же она из приличной семьи, и отец ее не последний чиновник в нашем городе, моя дорогая»...

Потом они как всегда перевернут свои чашки вверх дном, «обязательно от себя», вылив на блюде немного гущи, оставят высыхать; разглядывая черные тропинки, точки и застывшие узоры, увидят *казенный дом*, а в нем *паука*, *змею* и *корову* – «Сглаз это, моя дорогая, натуральный женский сглаз», давая определение увиденному, она посеет сомнения в душе соседки, посоветовав сходить к старику, что у старого рынка. «Все дело в кривоносых птицах, тянущих из барабана Судьбоносные Трубочки», пожелтевшие клочки бумажек,

на которых неразборчивым почерком написаны Слова, и если сумеешь прочесть их, то это и будет предсказание. «Прямо у входа, невозможно пройти мимо», и стоял этот вечно дремлющий старик, словно мумия с агатовыми четками в руках, оживающая на глазах, как только подходила женщина, он встряхивал привязанный к лапкам попугайчиков замшелый шнурок – «Шевелитесь бездельники!», и взволнованные птички открывали затянутые сонной пеленой бусинки глаз, смешно кланялись, как болванчики из фарфоровой лавки напротив, чирикали и ходили по жердочке как заведенные, а дед, подгоняя их тонким прутиком, ловко крутил барабан до первой остановки. Тогда синий или желтый доставал одну из этих бумажек и за малую мзду – «Всего две монеты!» – каждый мог купить свою Судьбу; все знали, что старик не менял надписей целую вечность. «Что там говорить!? Я и сама в десятый раз вытаскиваю одну и ту же, жулик проклятый! Но, может быть, тебе повезет, и ты вытянешь новую трубочку, говорят, она сильно отличается цветом, а уж там-то точно будет написано все, как есть, моя дорогая»...

С незапамятных времен, когда этот высушенный годами старик был еще мальчиком, он продавал в трубочках марихуану, а теперь – Судьбу, и неизвестно, что было гуманнее; но женщины все равно шли к нему, покупали свое мнимое благополучие и неподдельное горе, измену мужа и нежелательную беременность, лишь бы сумеешь прочесть предначертанное или додумать слово из недостающих букв... Все

продавалось и покупалось в этом мире бесконечных обрядов и пересудов, пристальных осуждающих взглядов и скорых на расправу людей...

\*

Никто не знает, откуда пришел этот обычай: так делали все женщины, а до этого их бабушки и, вероятно, прабабушки, но делали все; это происходило в июле, когда солнце не затрудняло себя подниматься высоко в небо, а нещадно палило на расстоянии вытянутой руки, так низко, что нужно было стоять стражем у вывешенного белья, наготове, потому что, высохнув за какие-то минуты, оно желтело и сворачивалось трубочкой, как бумага; не разжигая огня, делали конфитюр из спелых ягод в тазах, оставленных томиться в этом мареве, и даже осы, любительницы сладкого, не осмеливались вылетать на охоту за этим лакомством, стоящем на каждом балконе каждого дома, так было жарко; детей загоняли в свои комнаты, а мужья отдыхали под прохладой газетных новостей, когда вся женская половина двора расстилала огромные одеяла, располагаясь в тенистых проходах своих дворов, брали длинные прутья, приготовленные заранее: трижды вымоченные и высушенные, толщиной в палец, но гибкие как плеть... тогда и начиналось время тяжелой Порки.

Они усаживались на колени и взбивали шерсть острижен-

ных овец для одеял и перин, купленную еще по весне, привезенную из деревни или доставшуюся в приданое, а может, распотрошив прошлогоднюю, снова мыли и взбивали ее для пущей мягкости; сначала надо было отделить друг от друга свалявшиеся комья, насколько это было возможно, и только потом мир погружался в хрусткий бой рассекающих воздух прутьев.

Заносся высоко над головой, они били этими прутьями по шерсти со всей силой, какая только была в их надорванных от домашних тягот руках, и после крепкой пощечины, данной земле, в воздухе еще несколько секунд висел этот жуткий свист, и тут же свободной рукой они стягивали растрепанные остатки с прута, чтобы снова и снова пороть воздух попеременно с шерстью...

Казалось, сейчас они бьют свою тяжелую женскую долю, своих грубых мужей и непослушных детей – «А вот это бы досталось свекрови, и поделом ей!»; раскачиваясь в такт своим мыслям, они успевали выкрикивать друг другу какие-то слова или колкости, в зависимости от того, какая из соседок устроилась рядом – «Знаем мы, как учится твой сын! Профессор, а гвоздь от молотка не отличит! Кому нужен будет такой мужчина?», «Твоя-то подросла уже, смотри, не прогляди, девка-то видная растет!»; и даже палящее солнце не могло их уgomонить, пока, наконец, в небе проступали розовые прожилки и набегали растрепанные облака, знаменуя собой вечер.

Теперь, когда ломило спину, а руки, занемев от боли, повисали плетьюми, они собирали шерсть и шли по домам, а на их место заступали мужчины в беседке за игрой в домино...

Но на завтра женщины снова собирались, принеся с собой приготовленное для одеял и перин полотно: надо было зашить все это вовнутрь большими иголками и крепкой нитью – «А как же иначе? Белая шерсть самая ценная, а черная или смешанная с рыжей совершенно не годится для приданного, только белая, моя дорогая!», – наставляла соседка, а матушка молчала, думая о том, что придет время и на ее месте будет сидеть дочь, перебирая эти колтуны и комья, утешала себя тем, что всех ждет та же участь – «Что делать, если ты родилась женщиной?»... Огромная игла послушно протыкала ткань и толстая нить надрезала изгиб мизинца – «Только бы Она родила первенца мальчика, Господи...».

Во время Большой Уборки, стоя на подоконниках, мыли окна и почерневшие рамы, протирая старыми газетами стекла, чтоб не осталось разводов – ведь что могут подумать люди, глядя на окна с разводами? Выносили старые ковры на улицу, выбивали их плетеными колотушками, а вокруг собирались соседки, оценивая усердие молодых девочек, примериваясь, какая из них сгодилась бы им в невестки. Девочки мыли эти ковры, поливая проточной водой, топтали босыми ногами, чтоб смылась пыль, вешали сушить, а дети, захватив из дома кукол и солдатиков, разыгрывали целые спек-

такли, прячась за расписными занавесями восточных орнаментов...

Следом начинался Просмотр: все приданое, собранное годами, вывешивалось на балкон под чутким руководством бабушки – «Шелковой вышивкой наружу, наружу, я сказала! Да, да, к улице, чтоб видели, какое у моей внучки приданое. А то вон в доме напротив все вывесили наизнанку, кому это надо?».

Прохладными вечерами ребятня собиралась во дворе и играла в карты. Выигрывал тот, кто больше жульничал, а проигравшему вымазывали лицо сажей. Больше всего доставалось Ее брату, и он со слезами под хохот победителей убегал домой, жалуясь на сестру, которая «пририсовала мне усы и смеялась вместе со всеми, вот Она какая!», и разъяренная бабушка выходила на балкон: «Немедленно домой!», и Она шла с поникшей головой, потому что в лучшем случае Ее отругают, а в худшем бабушка надаёт оплеух за то, что «ты так жестока и что это твой брат, продолжатель рода, и ты должна не издеваться над бедным мальчиком, а чтить его как мужчину и будущую главу семейства!». В это время за спиной бабушки вредный братец, показывая острый розовый язычок, корчил рожицы, и только матушка все видела, скорбно качала головой, но ничего не могла сделать: «Он же мальчик, не стоит обижаться на него, дорогая», – говорила она, купая его согретой под солнцем водой. – «Лучше потри ему спину»...



Ранней осенью Город был взбаламучен новостью: приехал цирк.

Шапито расположилось на окраине: разбили огромный шатер и расклеили афиши, на которых пестрели полуголые женщины, карлики и силачи; детвора с веселыми криками бежала за фургончиком, и томные дамы с кружевными зонтиками, обмахиваясь веерами от жары, поправляли непослушные пряди волос: «Вы не находите, что тот жонглер весьма недурен собой?», перешептывались они, зная, что пойдут на все представления, на все без исключения, и будут вожделенно наблюдать за разгоряченными мужскими телами, нервно барабаня ухоженными пальцами по сумочкам, в нетерпении увидеть, как акробаты срываются с канатов: «Может кто-нибудь и умрет?», – будут говорить они в отчаянии собственной недосыгаемости, в злобном бессилии, потому что все равно ни с одним из них ничего не получится, ведь если кто-нибудь узнает – «Что тогда скажут люди?»...

«Представление ровно в шесть!» – вбежали они домой с криками, но бабушка, словно не слыша, нахмурившись, продолжала перебирать чечевицу; а отец пришел домой веселый, как никогда: «Сегодня мы идем в цирк!» – сказал он, и голос прозвучал так странно, так необычно, что все оторвались от своих дел и с недоверием посмотрели на него. «Я

помню, в детстве, приезжал такой же и... чего уставились? В цирк, я сказал!» – этот тон был гораздо привычнее и все успокоились: значит, ничего страшного не произошло, все по-прежнему, он не заболел, просто все пойдут в цирк.

Размалеванные красавицы с оголенными ляжками и глубоким декольте, под вздохи мужчин и недовольный гул женщин танцевали на тонких канатах, улыбались так, словно губы их и был этот натянутый канат; им лениво хлопали только женщины, потому что мужчины не смели в присутствии своих жен одобрять ни их ловкость, ни красоту, ни «эти одежды и срамные места, выставленные напоказ, какой кошмар! Что скажут люди?»; а они с братом смотрели как замороженные на акробатов, на мощных силачей, на жонглеров и ручных мартышек и, самое главное, на клоунов, которые выделяли такие номера, что даже суровые женщины, прикрывая рты, давились от смеха и утирали слезы.

В этот вечер Она, встав перед зеркалом, оглядела свое тело и обнаружила, что грудь Ее, оказывается, не плоская, как у брата, и что ноги худые, но все равно похожи на ноги тех акробатов и значит – «Я красивая, мама?»; и на завтра снова бежала к каруселям, там они с братом садились на деревянные лошадок, которые гарцевали вокруг железной оси, и разноцветные гирлянды перемигивались, затмевая звезды в черном небе, а потом снова в цирк, только теперь они смотрели представление не сидя на лавочках, а сквозь щель натянутого полотна, как во время свадеб во дворе, где для детей

никогда не хватало места, и сейчас никто не знал, что они убежали так далеко от дома, и даже бабушка почему-то потеряла привычную бдительность, а они бежали, чтобы еще и еще раз увидеть этих клоунов, которые смешили так, что в животе появлялись колики.

«Главное, чтобы ты не рассказывал, где мы были, а то достанется», – говорила Она по дороге домой, и они ходили туда каждый день, каждый вечер; а однажды, узнав, что кто-то из акробатов все-таки сорвался с каната, побежали туда быстрее ветра, быстрее собственных мыслей и, прибежав, не увидели ничего, кроме разобранного шатра, груды мусора вперемежку с опилками и двух любимых клоунов, теперь лишенных какой-либо мимики, сидящих на крышке гроба, в котором лежал бедняга, сорвавшийся с каната под вождьленый стон женщин...

Сейчас эти клоуны курили странные папиросы, от которых пахло «не табаком, а палеными листьями!», и Она получала затрещины от возмущенной бабушки и была под домашним арестом за запертой дверью своей комнаты, под которой канючил брат: «Я не хотел рассказывать, получилось случайно...»; от злости Она отрывала головы ненавистным куклам и тосковала по своим голубям: «Кто их сейчас кормит?», смотрела в окно на дождь, смывающий афиши, и когда уехал цирк, в Ее памяти не осталось ничего, кроме печальных лиц без грима и странного запаха папирос...



На семейном совете было принято решение, что Ей надо заняться музыкой. «Почему бы и нет? Меньше времени будет проводить в голубятне!», и февральским воскресным утром все соседи собрались у их дома: «Вы видели, что им привезли? Как, до сих пор не знаете? Пианино!»; большое гладкое существо черного цвета заняло почти всю Ее комнату, гордо выставив напоказ золотистые педали, словно это были новые ботинки.

Клавиши издавали странные звуки: от высокого к низкому и наоборот; нижние левые были как голоса мужчин, спорящих в беседке, кто же выиграл сегодня в домино, а само пианино было словно черно-белая мозаика, только не вразброс, а на удивление гармоничная, превосходящая все ожидания своими размерами и звучанием; правые клавиши, особенно последняя, издавали звук дождя, средние – как бабушка ругается с соседкой о том, чтобы та не занимала бельевую веревку; черные же были самыми грустными, и когда Она их нажимала, то откуда-то появлялся запах папирос, которые курили клоуны...

Она нажимала по сотне раз каждую из них и перед ней возникали знакомые и незнакомые образы, видимые и невидимые люди, цветные картинки из книжек: «Как такое может быть? Откуда появляются эти звуки, мама?». Первые куп-

ленные в магазине ноты были как тайное послание, неизвестное и зашифрованное, его никто не мог прочитать, но Она, положив их перед собой, смотрела на пляшущие точки и нажимала верхние клавиши: «Ведь если точки черные, значит, нажимать нужно черные клавиши!» – так Она рассуждала, самозабвенно тыча сначала одним пальцем, а потом всеми одновременно, ощущая прилив гордости: «Я играю! Слышишь, мам?», отчего через три дня бабушка стала сходить с ума: «Лучше бы Она сидела в голубятне, ей Богу!»...

В назначенный день к ним должен был прийти настройщик.

Этот человек всюду ходил со своим повидавшим виды саквояжем и, даже сев за стол, ставил его у ног, не желая расставаться ни на минуту. Чувство собственного достоинства и гордыни переполняло его, так казалось всем. В костюме с крахмаленным воротничком белой рубашки и аккуратно подстриженной бородкой: «Где ж это видано, чтоб мужчина так ухаживал за собой?». Никто не помнил, как и когда он приехал в Город, сразу став предметом насмешек и кривотолков; он не разговаривал с соседями и не играл вечерами в домино, но был учтив, непременно здоровался легким поклоном – «Даже с мужчинами!», предпочитая забытые манеры рукопожатиям и похлопываниям по плечу, говорил так уклончиво, что «и не поймешь, прости Господи, мужчина это или нет?»; на вопрос «С кем же ты спишь, чудак?», он всегда отвечал без злобы: «С музыкой», и в его сло-

вах не было лукавства или кокетства, просто странным образом ни один ком грязи не прилипал к его светлomu, но совершенно неприемлемому в этом обществе образу; он был лучшим, «лучшим настройщиком в городе!», и люди смирились с этим «срамом!», оставляя за собой право пересудов и грязных небылиц, адресованных его природной доброжелательности и необъяснимой утонченности: «Что поделаешь, если он лучший?»...

В комнате было прибрано с особой тщательностью, подобающей случаю. Кровать застелена новым покрывалом, а на самом пианино красовались хрустальные рыбки – гордость бабушки, которые на ее взгляд, наконец, нашли достойное место в доме, но они мгновенно исчезли, как только он зашел туда и вынес суровый приговор всем безделушкам мира и всевозможным предметам гордости, не подлежащий обжалованию. Слово «убрать» перечеркнуло все надежды, как и его отношения с бабушкой: «Не вижу в этом ничего дурного, господин мастер!», но под тяжелым взглядом отца она собрала их в коробку, из которой они были извлечены: «Вы еще вспомните о них, но будет поздно!», – сказала бабушка, удаляясь и не желая быть причастной к тому, как «собственный сын не чтит старость! Куда катится мир!?».

Будто бы он был врачом: тщательно вымыв руки, достал из саквояжа аккуратно сложенный холщевый халат, надел поверх костюма и подошел к пианино; оглядевшись по сторонам, изучая само пространство, где подопечный должен

провести отмеренное ему время, он задумчиво произнес: «Скучает», и все замерли. Внимательно осматривая своего пациента, он провел рукой по ребристому рисунку, спускаясь вдоль, по бокам, снизу вверх и обратно; медленно, никуда не торопясь, прощупал педали, нажимая поочередно каждую, пытаясь уловить еле слышный скрип, и удовлетворенно выдохнув «Хорошо», стал подниматься выше, к самой крышке; каждый кусочек этого полированного дерева был тщательно обследован его чуткими пальцами, и теперь все ждали, когда же он начнет настраивать его, но он, снова попросив полотенце, пошел мыть руки. Первое обследование прошло благополучно, и все еще оскорбленная, но вернувшаяся в комнату бабушка, видя удовлетворение на его лице, отметила, что «Слава Богу, нас не обманули с инструментом, денег-то каких стоит!», но он, ничего не слыша, прошел мимо, кивнув просто из вежливости, и все остались довольны. Ему принесли новенький, приобретенный по случаю покупки инструмента стул с высокой спинкой, но он даже не стал его щупать. «Не то», – просто сказал он. – «Принесите другой», и бабушка в растерянности заметалась по дому: «Господи, какой же еще стул ему нужен? Этот совершенно новый, на нем и умереть не стыдно, господин настройщик!», – увещевала она, но он сам прекратил тревожные поиски, взяв первый попавшийся из коридора: круглый стул без спинки, служивший простой лестницей к антресолям, где хранилось бабушкино варенье. «Этот?» – воскликнула недовольная ба-

бушка, и все ее понимали: обшарпанный, больше похожий на осьминога с кривыми засохшими щупальцами, когда-то он был ценен тем, что крутился вокруг собственной оси, а теперь был скорее подобием древней карусели или коряги, чем тем, на чем сидят, особенно перед *пианино*. «Это совершенно негодная табуретка, просто старье, господин мастер!», но он уже уселся на него и погрузился в созерцание черно-белого рисунка; сначала красная бархатная лента, мирно лежавшая под крышкой, сползла, потревоженная его руками, сложившись в недовольную гармошку, а потом он нежно, почти любовно положив руки на клавиши, нажал тихо, но точно те аккорды, которые уже давно жили в его пальцах, покоясь до той поры, пока перед ними не возникал инструмент, и тогда по всему дому поплыла музыка...

Мерцая от темно-синего до светло-зеленого, она плыла, оставляя за собой серебристый шлейф, через стулья, сквозь занавеси, оседая на руках и одежде, мимо отца, у которого в руках на мгновенье остановилась кофейная мельница, а бабушка механически стряхнула с себя невидимые пылинки нот, и, переливаясь за края балкона, звуки растворились в небе, словно круги на воде...

Взлетом двух птиц он аккуратно убрал руки с черно-белого поля, не тревожа другие клавиши, и прошептал: «Живое!», на что бабушка, перекрестившись, ворчливо отметила, что «нынче все походили с ума, чаще в церковь ходить надо!», и вышла из комнаты, оставив Ее наедине с этим ве-

ликим мастером, творящим чудо...

Когда все разошлись по своим делам: бабушка погрузилась в молитву, отец продолжил молоть кофе, а матушка села перебирать крупу, он достал из саквояжа свои инструменты, и те, радостно позвякивая, улеглись на темном полотне в привычно строгой последовательности.

Завороженная, Она сидела, затаив дыхание, потому что сейчас он уже делал что-то страшное, совершенно не укладывающееся в голове: на Ее глазах он стал расчленять пианино по кускам; самый большой был тот, что с резным рисунком, дальше шла сама крышка, и все это легло у его ног, открывая Ей страшную тайну происхождения удивительных звуков...

То, что открылось взору, не поддавалось никакому объяснению: перед ней возникли странные внутренности пианино, о которых никто и никогда не догадывался, уж Она-то знала это наверняка! Точь-в-точь как учили в школе, что в человеке есть внутренние органы; седой учитель, с замотанной дужкой вечно ломающихся очков говорил, что все люди состоят из воды и прочей ерунды, в которую, конечно же, никто не верил. Но как жестока оказалась картина внутренних органов этого полированного чуда! Не волшебные нити и даже не сказочные феи оказались там, а ровные ряды деревянных молоточков, бьющих по натянутым в глубине струнам, черные шишки – колки, как Она узнала позже, которые он подкручивал специальным ключом, бар-

хотка, обтягивающая основание струн, все это не вязалось с Ее представлением о том, *что такое пианино*, и напоминало кишки, но не выпотрошенной курочки, а аккуратно сложенные, как на висящем в классе рисунке, где были показаны селезенка, печень и сердце, только совершенно гладкие и необычайно ровные в своем строении, вытянутые по швам, совсем не как у человека...

Настройка длилась нескончаемо долго, и скоро эта какофония из нажимаемых взброс клавиш и слаженных движений закружилась у нее в животе голодными стайками, отяжелела голова, будто это посвящение уносило Ее далеко от дома, поднимая ввысь к малиновому небу; Она уже почти сползла на пол, прикрыв уставшие от напряжения глаза, и наблюдала за солнцем, поливавшим лучами испорченный живот Ее пианино, за руками, неустанно крутящими ключ то тут, то там, подтягивая струны до нужного уровня; больше всего Ей нравилась двурогая вилка, которая долго дрожала в воздухе после легкого удара, определяя чистоту звука натянутой струны...

Все это длилось вечность, маленькую вечность в Ее крохотном мире, залитом предзакатным золотом, пока дыхание не растворилось в мерном тиканье настенных часов, и Она забылась, убаюканная колыханием штор и тихим позвякиванием той самой вилки, превращенной сонным воображением в ползущую виноградную улитку, за которой тянется мокрый след...

Никогда Она не понимала значение слова *пауза* так, как сейчас, и позже, разучивая этюды и пьесы изо дня в день, Она больше всего любила этот миг, эту закорючку в нотах, само это слово, понимая его изнутри, с кристальной изнанки, ясно видела его *до* и *после*, мысленно возвращаясь в тот день, когда мастер, закончив настройку инструмента (теперь все как прежде было собранным и подтянутым во всей красе), сел перед ним, сделав глубокий вдох, в то самое мгновение перед тем, как он опустил руки, чтобы сыграть первое в Ее жизни произведение, первую тоску Ее неосознанных желаний, первую любовь и неизбежное разочарование, именно тогда Ее накрыло огромной волной внезапной тишины и *пауза* наступила разом. . . . Стало так тихо, что в полудреме Ей даже привиделись окаменевшие лица родителей и застывшие слова бабушкиной молитвы, даже суетливый шелест крыльев Ее голубей утонул в этой неподдельной тишине, потому что *пауза* была во всем: в движениях, звуках и даже в дыхании. . .

Как вдруг внезапный шквал музыки окатил Ее обмякшие мысли, врываясь в уши, в самое сердце; Она вскочила на ноги, не понимая, то ли это заблудившийся ветер, влетев в открытые окна, ударил по клавишам, то ли последние блики уходящего дня обрушились на Ее инструмент, но то, что Она слышала, не могло сравниться ни с чем, ни с чем услышанным до сегодняшнего дня, до этой самой минуты; Она не верила своим глазам, не могла взять в толк, как этот настрой-

щик – всего лишь человек – ничто, по сравнению с солнцем или ветром, играл на пианино...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.